

Пора (время-бытие). Лекция IV (10.10.1995). Часть 1.

Время стало быть мечется между существованием и несуществованием потому что мы чего-то не замечаем, из-за нашей «анестезии», ἀναίσθησία (Физика IV 11, 218b 26), помните мы говорили об анестезии увечных существ, у которых оторвана половина, в курсе о Витгенштейне, в том контексте, где он предлагает не правда ли совсем фантастическую, предельно, до абсурда нереальную картину такого небывалого человечества, которое по четным дням помнит всё, что с ним было в четные дни и совершенно не помнит — у него выпадает полностью — всё что было по нечетным, а в нечетные наоборот всё то вспоминает и не помнит про четное. — Не правда ли, не решился я прочесть прошлый раз, какими далекими от жизни и действительности помышлениями заняты философы, вместо того чтобы решать практические задачи.

Есть внутреннее противодействие даже здесь, в месте почти уже трехсотлетнего университета, говорить об увечности человека. Я тогда, в порядке гиперкомпенсации, специально ввожу в этот курс (добавлю возможные его альтернативные названия, «философия истории», «историософия») уже сейчас новое понятие, оно развернется полнее потом, в числе ключевых слов — «увечность», от «у-» в значении «отнимать, убирать» — как «уходить» (замучить), «убывать» (всё меньше бывать), *век* «деятельная активная сила», первоначально «век» перешло от значения силы-активности к значению длительности примерно так же, как вместо «жил» можно сказать «процветал», или во вполне официальном языке говорят о «периоде жизнедеятельности», в разных смыслах. «Век» в этом смысле эвфемизм, желание сказать «хорошо»: не просто технически «время от рождения до смерти», а «время энергии, силы». *Век* в смысле «силы» в русском языке похоже — так бывает — совсем исчез и реконструируется только по своему сохранению в *compositum* «у-вечный» и по другим языкам, например лат. *vinco, vincere* «побеждать», «иметь мощь». — Я буду, держа в памяти свежие разборы боли у Витгенштейна, понимать «увечность» как принципиальную неисправимую отнятость, устраненность полновесного «века», не в смысле случившегося несчастья с человеком, а с другим человеком и в другие лучшие времена не случилось, а в том смысле, в каком Фридрих Гёльдерлин («Гиперион», XXVIII), называет разлуку, неединство (расколотость) души, *Seele, со своей половиной, цепями, скованными судьбой, и железным неумолимым законом, die Ketten ... die das Schicksaal ihm schmiedet ... das eiserne unerbittliche Gesez...* То, что в том же месте и в других Гёльдерлин говорит об «изувечении чувств», *als lähmten die andern ... mir die Sinne*, об умерщвлении всей жизни, *als tödteten sie mein ganzes äußeres Leben*, может быть хорошим тестом, кто-то читая отойдет в сторону и назовет это преувеличенной романтической и сентименталистской чувствительностью, но мы лучше будем знать, что Гёльдерлин один из тех очень немногих, редчайших уже во всём современном человечестве, кто отказывается принимать средства анестезии (анестезия в трактате Аристотеля о времени по существу сказана в *том самом смысле*, как мы говорили об анестезии по Витгенштейну) и, если сказать словами другого шваба, современника Гёльдерлина и его студенческого друга, Георга Гегеля, не штопает

разорванный чулок своего сознания. Чулок дырявый лучше заштопать, но сознание лучше разорванное.

Пропажа настоящего (мы свидетели, ежедневно, на опыте, этой пропажи) состоит не только в том, что например новости прошлого часа и даже получаса (бывают краткие сообщения каждые полчаса) уже не свежие новости; а еще раньше, когда *самые* свежие новости, прямо от журналиста по телефону, или по рации, еще только подаются — как говорится «прямо с телетайпа», — они жадно, немедленно подаются так, что или требуют продолжения в виде *еще более свежих* новостей, или *комментариев*; т.е. всякие свежайшие новости уже с самого начала объявляют себя *текущими*, указывающими в сторону чего-то более настоящего, чего не хватает, чтобы они были более полными. Чаще всего это настоящее не еще более свежие новости, а *комментарии*; т.е. получается чтобы уловить ускользающее настоящее, нам нужен комментарий, который свежайшие новости поместит туда, где полная санкция настоящего им будет дана, странным образом в идеальной сфере, в сфере идеологии — там оказывается ключ к настоящему. Что суета и злоба дня — злободневность — настоящего ускользают, снова и снова, ежеминутно, это как раз всего менее настоящее, *ненастоящее*, — это, я говорю, общее место. — Незаурядные события (потому что всякие свежие новости нами в сущности отбрасываются, «ну, это мелочи...», «это еще не то, не то, не то...»), как революция, начало войны (но, что интересно, не окончание войны и начало мира, которое не в ряду решающих событий), не суммируются из содержания поданных новостей, так что скажем такое-то сообщения о передвижение войск, количестве жертв равносильно сообщению о начале войны, а так, что новости опознаются как *то самое*, странным образом, *ожидаемое*, страшное, судьбоносное; так, как если бы содержание новостей требовалось уже только для проверки, *то самое* произошло или наоборот не произошло, или другое. Т.е. новости в качестве большого события приходят из другого узнавания, чем из содержания или комментария к новостям. И не так, что большое событие результат комментария, или решения, скажем властей, что да, такие новости равносильны событию X, скажем началу войны. Комментатор и власти сами скорее как могут и как умеют, большей частью невпопад и некстати и имея в распоряжении скудный лексикон идеологии, поспевают хромая за узнаванием; несловесное узнавание имеет характер настроения. Вот почему настроение и важнее для властей, чем идеологии. Война создается настроением, а не идеологией. Люди чувствуют наступление грозного, или серьезного, «в воздухе», как всё оползание Ближнего и Среднего Востока можно было уже чувствовать «брюхом» во время начала Ливанского разрушения или уж во всяком случае при изгнании шаха из Ирана, хотя что собственно происходит, ни комментаторы ни власти как следует не знают и теперь, и название процессу, заведомо условное и техническое, будет дано может быть историографами через сотни лет. Это незнание имени события (без «языка знают так как-то») ничуть не мешает узнаванию, скажем в начале ограниченной операции по восстановлению конституционного строя в республиках Северного Кавказа, что началось «то самое». Таким образом, не свежие новости оказываются и подают себя в качестве сегодняшних новейших как «настоящее», а они опознаются как такие и получают санкцию «настоящего», которое принадлежит как раз *не* настоящему

времени в смысле дня текущих новостей, а всегда уже было в нас как то, чего ждали или наоборот опасались. Как раз наоборот, с последними новостями дня — успокаивать, новости имеют как раз такое назначение, и далеко не совсем бессознательно — настроение «того самого» должно рассосаться, развеяться, новости призваны успокоить, умиротворить (анестезия), что настоящее произошло или произойдет еще не прямо сегодня; и настроение, узнавшее было в событиях дня «то самое, серьезное, настоящее», тогда почти стыдливо прячется, уступает «трезвости», что «не надо преувеличивать».

Не приходится даже играть с той гипотезой, что в диапазон позитивно или негативно ожидаемого, т.е. того, с чем сверяются свежие новости, входят более или менее весь спектр того, что может случиться с человеком. Ничего такого нет на свете. Мир (настоящий) например может случиться, но окончание войны становится именно событием окончания войны, а не событием наступления мира, потому что мир вообще выпадает из диапазона, не ожидается, в числе новостей не опознаётся, смешивается с отсутствием войны. Сознание современности такое, что мир в него иначе не входит как рядом с войной, и борьба за мир это борьба против войны, так что и война — это война за *мир*, а войны против мира не бывает; и эта несимметричность подчеркивается тем, что война постоянная («столетняя», или «мировойна» по Хайдеггеру) без мира представима и она наша «реальность», а мир без войны кажется идеалистическим пожеланием (и как вечный непредставим). Это замечание о том, каков диапазон ожидаемого. Тоже разорванность. Увечность человека и здесь.

О продлении настоящего, которое само по себе, в последних новостях, не настоящее, нуждается в санкции, чтобы быть опознанным как настоящее, а без этого оно летучее из летучего и неистинное из неистинного, или о суммировании таких настоящих, чтобы получилось время, говорить не приходится, мы оказываемся с дырами в руках, как такие, которые я рисовал (по Аристотелю) на доске прошлый раз.

Эпоха, период получают название от события: эпоха «столетней войны», «тридцатилетней войны», «наполеоновских войн», «реформы» (т.е. революции или попытка обойти революцию по-русски), «эпоха, или период, когда я был так-то увлечен или по-настоящему работал». Без этого говорят что *как-то* «годы пролетели», т.е. время прошло легковесным, не обеспеченным. Время зависит поэтому от снятия анестезии на событие и от опыта границы, от перепада, или как я переводил *интереса*,  $\mu\epsilon\tau\alpha\text{-}\beta\omicron\lambda\eta$ , — в этом слове Аристотеля идея не постепенной смены, а переброса, внезапного поворота. — Мы читаем трактат Аристотеля о времени, «Физика» IV, и я исправляю свою методическую ошибку на прошлой паре. Я увлекся говорением на языке Аристотеля, и как бы это ни было интересно и даже полезно, хотя бы как исправление обычного, к сожалению, способа его читать на деревянном (якобы научном) эсперанто, — но всё равно ведь думать можно только на *своем собственном* языке, иначе будет только перебор мнений. — Наш шанс единственный не потерять ниточку в том, что для нас еще не исключен перевод Аристотеля на *собственный* язык, надо только перешагнуть через опасение, что филологи придут и скажут, что перевод

«неадекватный». Он *необходимый*, т.е. лучше чем всякий «адекватный» и вбирает адекватность в себя. Аристотеля прекратился бы смысл читать, если бы перевод его на *собственный* язык был в принципе упущен.

Если филологи в своей передаче, музейном хранении, перевода не дают (словарный, лексический перевод на якобы русский язык делает греческий оригинал только вдвойне запертым, хуже чем по-гречески), то у меня есть подозрение, что они просто не умеют этого делать. Это не предосудительное, а профессиональное неумение. Иначе они перестанут быть специалистами.

В филологическом изложении, которым я увлекся прошлый раз, Аристотель остается странным, т.е. чужим для мысли. Это примерно как я могу спеть песенку на японском языке и не знать, что значат слова, но по крайней мере воспроизвожу мелодию. В филологической «адекватности» еще хуже, там нет даже самой музыки, музы мысли. Перевод по словарю, почему-то достаточный для филолога, для меня не достаточен. Язык словаря несобственный, это язык составителей словаря.

Эта моя сегодня окончательная, последняя разлука с филологией (это не значит что я в филологии был кем-то), вообще-то формальный акт, потому что я давно знал что сюда дело клонит, а филологи всё равно и без этого моего объявления тоже давно и всегда смотрели на *понимающее собственное* чтение как на нарушение каких-то профессиональных, писанных или неписанных, но жестких правил, — и, с другой стороны (эта сторона в отличие от филологии ни страха ни уважения не требует), цеховые философы, открыватели философских киосков, продавцы матрешек (как на Западе сейчас целый клан разъезжающих русских философов продает матрешек поглубе стиль *рю*, заметив, что так западные скорее берут и легче платят), наоборот, обязательное, необходимое хотя бы просто внимание к стихии мысли (настоящая стихия мысли слово, а не лексика, не терминология) называют наоборот «филологией», а надо будто бы заниматься философией, иметь четкие понятия и т.д. Мы идем между двух огней, вернее между двух блефов, с одной стороны — иллюзией объективной работы со словом (как будто бы достаточной для того чтобы читать Аристотеля, античного философа, вообще философов) реально «словом» называют лексику; другой блеф «концепций», на деле умственных шалашей, когда человек надеется, что если он назвал что-то глобальное, то хотя бы глобус у него в руках, но у него даже и глобуса нет; потому что как раз язык исчезает не хуже чем бытие, ничто не умеет быть таким пустым, как лексика.

Возвратимся к Аристотелю. В полной анестезии и без-граничности (218b 32) время пропадает, время создается границей, *ὄρος*, или другие значения — предел, рубеж, определение. И *только* поэтому, потому что время по крайней мере когда-то уже имело себе обеспечение в границе и в том что мы чувствуем, *айстесис* (т.е. мы должны не тонуть в Лете, где никакого айстесиса нет; вот если бы кто-то всерьез занялся эстетикой, он должен был бы вот отсюда начать, со статуса человека между Летой с одной стороны, где нет алетейи, и айстесисом, чувством, с другой), *даже* время которое только так называется и не имеет другого существования

кроме механического движения шестеренок и стрелок (если даже не наблюдается событие), всё равно заставляет нас вспоминать по крайней мере, что если мы не ощущаем, то могли бы ощутить; если не видим перепада, того переброса, *метаболе*, то, напоминание, где-то он мог бы быть или где-то даже есть. Так сказать авансом, на веру.

Тогда спрашивается, откуда параллелизм, два ряда? Одно время — события, другое механического счета? Исторический пример: когда-то не было единого исчисления времени, отсчитывали от начала правления такого-то государя, от основания города, от мифического события... Теперешнее отсчитывание от рождества Христова — по существу то же; оно и принято только в христианском регионе. — Как в солнечных часах время это движение тени, так всякое время можно назвать тенью границы, перепада, интереса, и наоборот, если мы видим тень, то должен быть и гномон, указатель солнечных часов, вообще то что отбросило тень. Если часы тикают, значит где-то есть событие. — Не будем упускать это *важное*, что мы не обязательно знаем имя события, не можем указать на него пальцем. Мы исчисляем время скажем от рождества Христова. Христос в свою очередь «помазанник», т.е. отмеченный, избранный, освященный Богом. Рождество Христово, за ним стоит зимний солнцеворот, поворот Солнца, т.е. наше исчисление времени как-то укоренено кроме того еще в порядке космоса, который в свою очередь связан с загадкой мира — *двойная* граница, между божественным и человеческим и внутри космического закона. Т.е. в счете времени нет ничего, что не отсылало бы к событию, и похоже, что параллельное событию отсчитывание времени, механическое время, имеет смысл аванса события, напоминания о том (как секундная стрелка, постоянно движущаяся, напоминание), что событие хоть и невидимое есть. «Когда нам представилось прошедшим какое-то время, вместе представляется прошедшим и какое-то историческое движение» (219 а 7–8).

У пустого счета времени (тиканье часов) как напоминания о месте для события, пусть ненаблюдаемого, есть таким образом постоянная привязка к основанию, хотя она *не здесь*, не во времени. Я гадаю. Наверное, отсюда неуловимость самого времени, момента, секунды в нем: так дети хотели бы схватить вещь, ловя ее тень; хотя тень ведь тоже вполне реальна, но реальностью тени, отсылания. — Поскольку время обеспечено не из самого себя, то новый час на часах встречается не как тот, который сейчас наступит, а как «тот самый», готовность к которому уже была. Аверинцев заметил, давно, что съезд партии, он готовился как главное историческое событие страны и мира, наступал собственно вплотную до его открытия, а введением к съезду был вступительный доклад генерального секретаря, как отчет перед работой съезда. Т.е. как будто бы съезд должен был начаться с последним словом этого доклада. Но сразу после этого съезд оказывался уже *состоявшимся* историческим событием. Не было такого времени на часах, в которое вмещалось бы это событие, — оно признавалось всеми таким важным, что пролетало мимо, превращаясь из вот-вот наступающего в уже состоявшееся; сказать что оно нуждается для того чтобы состояться в протекании такого-то времени значило бы его принизить. Как всякое событие, съезд партии существовал по способу *внезапно* и *ужé*, т.е. по способу *априористического перфекта*

(выражение раннего Хайдеггера). Даже когда событие ожидается, оно как бы *уже* существует, потому и ожидается, поэтому споры, наступило ли оно на 32-й или на 33-й минуте такого-то часа, всегда кажутся пресной журналистской возней. Журналисты сами наивничают, привязывая событие к хронометру; по-честному они знают, что оно приходит откуда мы не знаем, но так легко затмить это незнание знанием.

Этим характером «уже» перепад-граница — которая (если) не попадет в полосу анестезии <есть> основание времени, событие, — выносится одновременно вовне различения между психологией и онтологией. Всё равно, чем и как мы попадаем в событие, настроением, сознанием, шкурой, телом, брюхом, рефлексией или своей онтологией, своей философией, своим присутствием, Пожалуйста, можем хоть психологией, хоть и телом. Нет разницы между онтологическим и соматическим: мы так и так задеты: то, что «уже», из этого нашего различения изъято, всё равно раньше его; всё равно подтягиваться до него надо. Всё равно до того, что «внезапно» и «уже», мы дотянуться не можем, *так что пожалуйста не будет беды если мы останемся на уровне психологии*. Потому что при всём преодолении анестезии, во всём пробуждении эстетики, мысли и чего угодно мы всех событий всё равно никогда не заметим, никогда не узнаем, каково их, так сказать, общее количество. Подсчет Михаила Леоновича Гаспарова, что современная культура известна современности на одну треть, не должен иметь критического или иронического смысла и не основание для принятия мер, «приобщения к культуре» и т.д., допустим, немедленного осмотра всех выставок современного искусства. Специалист в самой узкой области не отличается тут от глобалиста, держащего на компьютере все мировые процессы: для обоих событие произойдет как то, которое «вот оно», т.е. уже было.

Здесь можно думать о пифагорейцах или Лейбнице, которые одинаково говорят, что мир может быть полон громом, божественным или небесных сфер, уже сейчас, и мы его не слышим, хотя он нас определяет в нашем бытии. Непрестанное тикание часов как тень того грома.

То, что существует по способу априористического перфекта, прорезывает разницу между онтологией и психологией и соматикой и чем угодно. Называть это метафизикой, онтологией, философией психологии как Витгенштейн или пожалуйста постмодерном, всё равно, — суть в упущении, неизбежном, в наблюдении тени от ненаблюдаемой несхватываемой вещи. Бог знает, во всех смыслах слова, какие, где и сколько событий. Понимаете ли, мы их всё равно заметим всегда только сколько заметим, и никогда не сможем сказать, что заметили такой-то процент от того что можно заметить.

В связи с этим фразу близко к началу, четвертую в гл. 11-й кн. IV трактата о времени, можно читать по-другому чем у Карпова. Там так: «Не замечать существования времени нам приходится тогда, когда мы не отмечаем никакого изменения» (218 b 29–31). Перевод правильный, он привязан тем более к только что бывшей картинке с уснувшим латаргическим сном в Сардинии, он просто повторяет сказанное, но мы

можем думать, что Аристотель думает уже шире, и читать так: «Мы не считаем, что время есть [существует, что время есть бытие], — считаем время несуществующим, — когда не причастны к пределу и ограничению». Этим разрешен парадокс несуществования или с-трудом-существования времени в начале трактата: бытие-время сдвига это как хотите, а всегда *наше* бытие-время, объективно его констатировать, фиксировать не удастся, оно распадется на одно существующее и другое несуществующее, для одних оно существует а для других нет. А я уже сделал предупреждение, что это всё вне различия между психологией, соматикой и чем угодно. Оно касается нас, но это не значит, что от нашей психологии, нашего сознания, нашего решения что-то зависит.

Попробуем теперь немного приблизиться к стихии, к *элементу* аристотелевской мысли — слову; чуть-чуть [...]